

Смысл кольцовской песни

Сто лет прошло с тех пор, как родился этот необыкновенный поэт, и много лет с тех пор, как он умер, – но знаем ли мы его и ценим ли? Все знают громкое имя Кольцова, и кажется, никто его не читает, кроме детей, как басни Крылова. Он остается одиноким явлением гениального «поэта самоучки», «поэта – прасола», «певца радостей и горестей крестьянской жизни». Но для общественного нашего сознания он все еще чужой. Правда, были в критике попытки поднять его значение, но они оставались без влияния, ни один критик не врезал личность Кольцова и его удивительные песни в сердце русской интеллигенции. Зажигали Пушкин, Лермонтов, в некоторых кругах Некрасов, в других Тютчев или Фет, даже Надсон, но Кольцова только академически оценили, помещали в хрестоматии или перелагали в романсы.

И кажется, эта недооценка и это равнодушие, с которым встречен и его столетний юбилей – не случайны, потому что, может быть, все дело в том, что Кольцов выразил в своих песнях то, чего нет в психологии русских интеллигентных людей, и чего они так беспомощно ищут. Не прозвучат ли теперь, через много лет, после того как они раздались, эти песни для нас призывом к тому, чего мы жаждали.¹

Песни Кольцова прозвучали в первый раз в конце 20-х годов прошлого века, сначала в тесном кругу воронежских друзей, а потом очень скоро и в Петербурге, и в Москве, благодаря тому, что одним из воронежских слушателей случилось быть Станкевичу, земляку Кольцова, неожиданно узнавшего об его стихах. Недолго, не больше 15 лет звучали эти живые и дикие для интеллигентного уха песни в русской общественной среде 30-х годов. Настроенной в духе немецкой метафизики, иногда очень морализующего склада. Одним они были несколько ближе, понятнее, для других они прозвучали совершенно чуждо.

Неуклюже одетый, не умевший держаться, со смешным мещанским говорком и с огненной душой, которую Кольцов редко проявлял, а по большей части стыдливо прятал, – он являлся изредка в столицах, униженно кланялся тем литераторам, у которых были покрупнее связи, простаивал часами в сенатских и министерских приемных по торговым тяжбам отца, стеснялся читать свои элементарные для слуха, привыкшего к сложной и утонченной пушкинской музыке, песни, казавшиеся только усовершенствованными подделками под народные песни Дельвига или свои расплывчатые для мысли, наострившейся на немецкой дуалитике, думы – и весь сгорал таким знойным, таким кипящим внутренним огнем, по сравнению с которым даже пламенность Белинского или Герцена была лунным мерцанием. Он мелькнул в этой насыщенной отвлеченными рассуждениями среде, только снисходительно оцененный и ушел скоро совсем, как загадка, замученный дома в Воронеже, местным темным царством, 33 лет от роду.

¹ Далее следовал текст, позже зачеркнутый: Об этом и хочется сказать в столетнюю годовщину его рождения

Мы не знаем подробностей первоначального развития Кольцова. Знаем только, что образование его было слишком ничтожно, так как он учился всего два года, а затем стал помогать отцу в его торговых делах. Отец был мещанин-приобретатель, сначала торговавший, главным образом, скотом и развивавшийся временами тысяч до ста. Он вел дела крупно, но, по-видимому, беспорядочно, оказался, в конце концов, в долгах и принужден был отвечать по суду. Всю эту торговую суету и дразги переживал с ним с ранних лет сын, который и познакомился в столицах с литературными кругами, приехав хлопотать по отцовским делам. Он никого не знал, вначале был очень робок, всегда презираемый как мещанин-приказчик из комедии Островского. Единственно к кому он мог обратиться за помощью, были писатели, и он часто пользовался влиятельными связями Жуковского, Вяземского или Одоевского для торговых дел. Это было тяжело, и он понимал всю оскорбительность таких отношений и брезговал ими, и продолжал пользоваться этими услугами, находясь в безвыходном положении, понуждаемый отцом.

Среда, в которой он родился, вырос, и с которой не мог порвать до конца своих дней, была невежественная, грубая и жестокая. Ряд образов из Островского встает перед читателем писем Кольцова, писанных из родительского дома к столичным друзьям-писателям. Отец, владевший собственным домом и довольно большим капиталом, который увеличивался и упрочился хлопотами сына, не давал ему ничего и третировал его. Воспользовавшись его услугами, стоившими сыну великих усилий и насилий над собой, он отказывал ему и в средствах, и в уважении. Литературные занятия и связи его были только предметом насмешек и дома, и во всем Воронеже несмотря на покровительство Жуковского. Когда сын тяжело заболел, отец не давал ему денег на лечение; когда он наконец умирал на его глазах, он, живя с ним в одном доме, даже не заходил к нему, а когда навещал, то Кольцов не только читал в его глазах нетерпеливое ожидание смерти, но и выслушивал совет – лучше скорее умереть, чем рассчитывать на него. Одна из сестер сначала, подчинившись умственному влиянию брата, была на его стороне, но и она, выйдя замуж за купца того же типа, как и отец, изменила брату и вместе с другими сестрами помогала отцу в этой безобразной травле, единственный смысл которой была денежная корысть. Только мать жалела и старалась, сколько могла, защищать и помогать сыну, но это было робкое, безличное и забитое существо, без голоса, без влияния и потому – беспомощная в своей жалости.

Письма Кольцова, где он рассказывает обо всех этих отношениях, – тягостная драма, которую нельзя читать без слез, более тягостная, чем драмы Островского, потому что там простые и добрые люди, здесь – гений, человек исключительной душевной глубины и впечатлительности, с сжигающей жаждой жизни и с стихийным размахом сил. Если среда, в которой жил Кольцов, была среда Островского, то личность самого поэта не вмещается в размере самых одаренных и энергичных из героев его комедии. Он умер рано. Его душевное содержание развивалось случайно, урывками, не полно, оно и выразилось, наверное, не вполне, поэтому трудно определить его с точностью,

но не может быть сомнения, что это была натура очень страстная, кипящая силами и порывами через край. В его страстности чувствуется иногда стихия буйная до демонизма вроде Рогожина или Мити Карамазова, но по большей части – ясная, солнечная, прозрачная. Личность Станкевича и его философия, разумеется, оказали влияние на Кольцова, но какое, в точности – неизвестно, потому, прежде всего, что и сам Станкевич, несмотря на популярность его влияния, не определился еще вполне для нашего общественного сознания, а во-вторых, мы не знаем и того, чем был Кольцов для встречи со Станкевичем в 1830 году. От этой эпохи остались только его первые стихи, большей частью очень слабые и банальные. Однако среди этих стихов, написанных еще до встречи со Станкевичем, есть одно такое, которое указывает уже на оригинальность и личности, и таланта. Стало быть, Кольцов нашел себя еще до интеллигентных влияний.

В этом стихотворении выражается в первый раз то чувство жизни, которое и было, судя по всем его позднейшим, самым совершенным песням и думам, его особенное, ему свойственное жизнеощущение, принесенное им и унесенное с собой.

Вот эта «песня», на очень простой сюжет, т<о> е<сть>, это только любовная песня, но какими бледными, вялыми и бессильными кажутся после нее даже лучшие любовные стихотворения лучших поэтов, если только суметь воспринять ее во всей ее внутренней первобытной силе и каким поразительным покажется тогда это переживание любви, как какой-то смертельно опаляющий и в то же время жизнерадостной до высшего направления силы.

Я думаю, что для интеллигентных людей эти стихи прозвучат глухо и банально.

Если встречусь с тобой,
Иль увижу тебя,
Что за трепет-огонь
Разольется в душе!

Если взглянешь, душа,
Я горю и дрожу,
И бесчувствен и нем
Пред тобою стою!

Если молвишь мне что, -
Я на речи твои
На приветы твои
Что сказать не сыщу.

А лобзаньям твоим,
А восторгам твоим,
На земле у людей
Выраженья им нет!

Дева, радость души!

Эта жизнь, – мы живем!
Не хочу я другой
Жизни в жизни моей.

Особенно характерно для силы переживания звучат слова «я горю и дрожу...» и «бесчувствен и нем...», и потом переход: «а лобзаньем твоим, а восторгам твоим» – как звонкий крик счастья, которое ребячески не знает удержу. И наконец, в последних словах заключена вся философия, вся основа кольцовской личности в прямом и открытом признании.

Это жизнь, – мы живем!
Не хочу я другой
Жизни в жизни моей!

Чувство жизни – вот основной нерв, основной стимул, вся мудрость кольцовского сердца, кольцовской песни. До философских влияний написан и «Совет старца», который, оглядываясь на прошлую жизнь, видит смысл ее только в молодости и молодом счастье:

Скучно с жизнью старческой –
Скучно, други, в мире жить;
Грустно среди пиршества
О могиле² взглядывать³,
И с седою мудростью
К ней, наморщась, двигаться
Поспевайте⁴ ж, юноши,
Наслаждаться жизнью!
Отпируйте в радости
Праздник вашей юности!
Много ль раз роскошная,
В год весна является?
Много ль раз долинушку
Убирает зеленью,
Муравою бархатной,
Парчей раззолоченной?
Не одно ль мгновение
И весне и юности?

В другой песне старик думает только об одном, как бы воротить молодость.

Оседлаю коня,
Коня быстрого,
Я помчусь, полечу
Легче сокола.

Чрез поля, за моря,

² В машинописи – опечатка, было: можете.

³ Ошибка в цитировании. На самом деле: взгадывать....

⁴ Ошибка в цитировании. У Кольцова: Поспешайте...

В дальню сторону, –
Догоню, ворочу
Мою молодость.

А непосредственно вслед за такими Советами и песнями старца Кольцов пишет призыв к юношам самих юношей:

Дайте бокалы!
Дайте вина!
Радость – мгновенье,
Пейте до дна!

Эти советы и призывы перемежаются с эпическими картинами радостей крестьянской жизни, которую так близко видел Кольцов, сталкиваясь с нею в торговле. Все помнят, конечно, как

Ворота тесовы растворились,
На конях на санях гости въехали.

Как войдя «в светлу горенку» и помолившись перед Спасом Святым, сели за набранные столы, на которых стояли полные блюда жаренных кур и гусей, пирогов и ветчины; и как принаряженная бахромой и кисеей молодая чернобровая жена целовала подруг и угощала гостей винами; угощал и хозяин «из ковшей вырезных брагой хмельною», угощала и хозяйская дочь с лаской девичьей медом сыченым, и как вдоволь напившись, наевшись, наговорившись о предстоящем урожае, позабавившись до полуночи, – разъезжались веселые по домам.

На этом описании ни одного темного штриха, все радостно, обильно и счастливо.

И не только в праздник в гостях, но и в будни, на тяжелой работе крестьянин у Кольцова весел. Вот выходит он с сохой в поле, когда красавица заря загорелась в небе, и из большого леса встает солнце; в душе его веселье.⁵

Весело на пашне <...>
Весело я лажу
Борону и соху,
Телегу готовлю,
Зерна насыпаю.
Весело гляжу я
На гумно из скирды,
Молочу и вею...

Это веселье бессознательное, но не беспредметное и не беспричинное, под ним лежит радостное жизнеощущение и даже мировоззрение.

⁵ Было: счастье (зачеркнуто).

Кольцовский крестьянин чувствует в растительных процессах великую и святую тайну; он знает, что, распахав землю, «Зернышку готовит колыбель святую»⁶ и с увлечением поет о единстве земли, солнца и человека в физической работе:

Пашеньку мы рано
С сивкою распашем,
Зернышку сготовим
Колыбель святую.

Его вспоит вскормит
Мать земля сырая;
Выйдет в поле травка...

Не только травка, не только красота. —

Вырастет и колос,
Станет спеть, рядиться
В золотые ткани.

Земля и солнце не только рождают красоту, но и питают человека. —
Дают жизнь, и поэтому так радостен труд:

Заблестит наш серп здесь;
Зазвенят здесь косы,
Сладок будет отдых
На снопах тяжелых...

И из совокупности этих двух ощущений или мыслей, собственно, мыслей-ощущений, загорается в душе молитва.

Уроди мне, Боже,
Хлеб — мое богатство!

Знал ли Кольцов крестьянскую жизнь такой, какой она действительно была, изображал ли он ее верно, сообразно действительности. Известно, что действительность эта была трудная, безрадостная и подневольная. Кольцов сам не был крестьянином, и смотрел на нее со стороны. Она была для него только предмет его любви, — поэтического тяготения, и, надо думать, что он то влекся к ней именно потому, что видел в ней огромную, светлую, непроявленную силу — живого чувства, в его младенческой свежести и напряженности, неотравленную, не обессиленную сознанием. Эта живая сила, сила солнца и земли, освещаемой и согреваемой солнцем, орошаемой дождями, дышащей росой, овевойной здоровым живительным воздухом. И напрасно поэтому было бы видеть значение Кольцова в бытоописании

⁶ Ошибка в цитировании. На самом деле: Зернышку сготовим / Колыбель святую.

крестьянской жизни, в поэтическом ознакомлении тогдашней интеллигенции с этой малознакомой средой. В этом обычном толковании делается уже та ошибка, что Кольцов и не был выходцем из этой среды, изображал ее как только близкий к ней, но не свой человек; но и еще важнейшая ошибка, что Кольцов изображал ее будто бы верно. Изображение крестьянской жизни у Кольцова даже там, где он говорит о горестях ее, – всегда идеализация, с точки зрения строгого реализма, порой, и сентиментальная, и, во всяком случае, романтическая.

Он любил эту среду, в сущности, также, как Пушкин «цыганский табор» или «кавказские аулы», Шатобриан «американских дикарей».

Но разница между ними и им подобными, с одной стороны, и Кольцовым, с другой, – в том, что те в тяготении к чуждому им первобытному состоянию выражали свою интеллигентскую тоску, безнадежную, потому – что эта психология непосредственной силы чувства была для них безвозвратно потерянным раем, – Кольцов носил этот рай в своем собственном сердце, если не всегда переживаемый, не всегда достигаемый, то всегда возможный. Если он не осуществлялся для Кольцова, то препятствия были вне его, а не внутри его, как для европейской русской интеллигенции.

Горьким сознанием этих внешних препятствий, роковым по их неодолимости и определяется содержание многих песен Кольцова. Иногда он выражает эти *удалыя* чувства, эти ощущения перегорающей внутри его воли манящей дали – на простых событиях обыденной жизни, на конкретных переживаниях, иногда отвлеченно, обобщенно.

Такие песни начинаются у Кольцова очень рано и идут наряду с идиллическими описаниями крестьянских радостей жизни. Они противоречат, по-видимому, идиллиям, но противоречие здесь только внешнее. На другой же год после «Крестьянской пирушки» и «Песни пахаря», в которых оседлая и мирная жизнь труда над матерью-землею и веселого отдыха после веселого труда представлены в таком идеале, Кольцов дает в стихотворении «Удалец» другое настроение – отречение от идиллии, прямую ее антитезу:

Мне ли, молодцу
Разудалому,
Зиму-зимскую
Жить за печкою?

Мне ль поля пахать?
Мне ль траву косить?
Затоплять овин?
Молотить овес?

Мне поля – не друг,
Коса – мачеха,
Люди добрые –
Не соседи мне.

Если б молодцу

Ночь да добрый конь,
Да булатный нож,
Да темны леса!

Снаряжу коня,
Наточу булат,
Затяну чекмень,
Полечу в леса!

Стану в тех лесах
Вольной волей жить,
Удалой башкой
В околотке слыть.

Правда эта песня неожиданно и нехудожественно разрешается в буржуазное примирение с жизнью:

Лучше же воином
За царев закон
За крещеный мир
Сложить голову!..

Но удалый мотив – ничем не стесняемой буйной воли – все более растет с каждым годом.

В другом стихотворении, писанном несколькими годами позднее, рассказывается, как молодой крестьянин ощутил в себе через край быющую физическую силу и страстную потребность любви:

У меня ль плечо –
Шире дедова,
Грудь высокая –
Моей матушки.
На лице моем
Кровь отцовская
В молоке зажгла
Зорю красную.

Та, которую он полюбил, и любовь к ней изображается тоже чертами былевыми:

Я ее хочу,
Я по ней крушусь:
Лицо белое –
Заря алая,
Щеки полные,
Глаза темные
Свели молодца
С ума разума...

Элементарно сильная и ничем непобедимая любовь сталкивается с неодолимыми препятствиями внешними: ее не выдают за него⁷ замуж, так как он беден. Это безвыходное напряжение физических и душевных сил могло бы разрешиться и слабыми душами так часто разрешается трагически. Кольцовский герой отрекается от такого слабодушного выхода. Он идет из родного села на заработки, косарем, чтобы, набрать «пригоршнями золотой казны». И это решение пробуждает в нем сознание в себе силы и чувства беспредельного мирского простора, выраженное гениально взятым былинным напевом:

Я куплю себе
Косу новую;
Отобью ее,
Отточу⁸ ее, –
И прости-прощай,
Село родное!
Не плачь, Грунюшка,
Косой вострою
Не подрежусь я...
Ты прости, село,
Прости, староста:
В края дальние
Пойдет молодец:
Что вниз по Дону
По побережью,⁹
Хороши стоят
Там слободушки!
Степь раздольная
Далеко вокруг,
Широко лежит,
Ковылем-травой
Расстилагается!..
Ах ты, степь моя,
Степь привольная,
Широко, ты, степь,
Пораскинулась,
К морю Черному
Понадвинулась!
В гости я к тебе
Не один пришел:
Я пришел сам-друг
С косой вострою;
Мне давно гулять
По траве степной,
Вдоль и поперек

⁷ Было у Вл. Гиппиуса ошибочно: нее.

⁸ Неточность. У Кольцова: Наточу..

⁹ Неточность. У Кольцова: набережью..

С ней хотелось...

*Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!*

.....
*Зажужжи, коса...
Засверкай кругом!
За шуми, трава...*

.....
Поклонись, цветы...

С течением лет удалой мотив силы и воли звучит все мрачнее; не потому, что ослабевает сила, но потому, что внешние препятствия все теснее, все душнее стягивают ее своим кольцом, так что, наконец, неизбежно является сознание и своего рокового бессилия. Но это не отречение от жизни, не измена пламенной любви к ней, но только признание своей душевной неутоленности.

Огонь горит внутри и прожигает душу:

Долго ль буду я
Сиднем дома жить,
Мою молодость
Ни на что губить?

Долго ль буду я
Под окном сидеть,
По дороге вдаль
День и ночь глядеть?

Иль у сокола
Крылья связаны,
Иль пути ему
Все заказаны?

В другой песне того же времени:

Путь широкий давно
Предо мною лежит;
Да нельзя мне по нем
Ни летать, ни ходить...
Кто же держит меня?
И что кинуть мне жаль?
И зачем до сих пор
Не стремлюся я вдаль?

Поэт в отчаянии думает, что он лишен «крепкой воли» для того, чтобы быть тем, чем он внутри своих сил и был:

Чтобы с горем в пиру
Быть с веселым лицом;
На погибель идти –

Песни петь соловьем!

И в следующем стихотворении того же года:

Нет сил; устал я
С этим горем биться,
А на свет посмотришь –
Жалко с ним проститься!

Доля ж, моя доля!
Где ты запропала?
До поры, до время
В воду камнем пала?

Но вдруг после этих слов безнадежности опять сила и размах:

Поднимись – что силы
Размахни крылами...

И в стихотворении тех же дней «Тоска по воле» после мрачного очерка бесплодно умирающей жизни, «не радующей удалой души», – эта удалая душа, сперва разливаясь в горьких воспоминаниях, разрешается все-таки бурным призывом:

Где ж друзья мои-товарищи?
Куда делись? разлетелися?
.....
Знать, забыли время прежнее –
Как, бывало, в полночь мертвую
Крикну-свистну им из-за леса:
Аль ни темный лес шелохнется...

И они, мои товарищи,
Соколья, орлы могучие,
Все в один круг собираются,
Погулять ночь – порошкошничать.

Друзья покинули, изменили, стремление к жизни разрешилось бессилием, но сильная душа не может кончить паденьем; она обращается к самой глубокой, и по природе своей неистощимой, силе:

Гой ты, сила пододонная!
От тебя я службы требую –
Дай мне волю, волю прежнюю!
А душой тебе я кланяюсь...

Для современного интеллигентского сознания этот призыв к «пододонной силе» звучит только риторически или просто непонятно, для Кольцова она имела живой смысл, призыв к ней не был поэтической фразой.

Жизнь как реальность конкретная, вещественная, материальная, и жизнь как таинственная нематериальная сущность ощущалась Кольцовым одновременно, тождественно и нераздельно. Он любил ее, разлитую вокруг себя, и он сам носил ее в себе, он чувствовал ее органически-неразрывной частью, которую хотят оторвать от живого целого. Он не мог не переживать этого разрыва мучительно-болезненно и в последних стихотворениях и выражена эта боль. Иногда это отрывание живого от живого становилось невыносимым, и он звал тогда «поддонную¹⁰ силу», где-то глубоко зарытую на самом последнем дне души человека и души мира. И не об отречении от жизни, а страстной любви, страсти к жизни говорит он и в том единственном из своих стихотворений, в котором он призывает смерть. Но призыванье смерти и есть в этом случае только выражение сильнейшего утверждения жизни, сильнейшего выражения страсти к жизни, сильнейшее безвыходно отчаявшейся в возможности сгорать в ее живом огне:

Жизнь! зачем ты собой
Обольщаешь меня?
Почти век я прожил,
Никого не любя.

В душе страсти огонь
Разгорался не раз,
Но в бесплодной тоске
Он сгорел и погас.

Моя юность цвела
Под туманом густым, –
И, что ждало меня,
Я не видел за ним.

Только тешилась мной
Злая ведьма-судьба;
Только силу мою
Сокрушила борьба;

Только зимней порой
Меня холод знобил;
Только волос седой
Мои кудри развил;

Да румянец лица
Печаль рано сожгла,
Да морщины на нем
Ядом слез провела.

¹⁰ У Кольцова: пододонную...

Жизнь! зачем же собой
Обольщаешь меня?
Если б силу Бог дал –
Я разбил бы тебя!...

Напряженное чувство жизни, сказавшееся во всех стихотворениях Кольцова, выражал он то песней – художественно интуитивно, то думами идеологически; но основа и песен, и дум была одна: именно это чувство, поэтому разделение его стихотворений на принятые два отдела не имеет никакого значения и только вело к недоразумениям. Думы рассматривались всегда как что-то отдельное от песен, искусственное и надуманное, или навеянное со стороны. Однако сколько-нибудь внимательное чтение стихотворений Кольцова в хронологическом порядке, без предубеждений против Дум, покажет, что Думы начали писаться очень рано, вскоре после первых оригинальных песен, и что разницы между Думами и Песнями, по существу, не было.

Если та определившаяся мысль или те волнующие сомнения, которые являются содержанием Дум, были, действительно, навеяны немецкой метафизикой, то, стало быть, эта метафизика на самом деле отвечала кольцовскому жизнеощущению, потому что и песни, и думы выражают то же радостное чувство жизни; в песнях просто как чувство в его конкретных произведениях и видоизменениях, в Думах как идейная формула или вопрос ума. Первая Дума относится к 33 году. До этих пор были написаны и «Крестьянская Пирушка», и «Песня Пахаря» и изумительная любовная песня, первая в кольцовском стиле. («Если встречусь с тобой...»). Во всех этих пьесах жизнеощущение Кольцова определилось с несомненностью. Начальные строки первой Думы («Великая Тайна») метафизически формулирует уже выраженную в песнях интуицию; но к ней присоединяется нечто иное – мука сознания, когда оно, пробудившись, развивает свою мучительную энергию в смущенных вопросах. Ощущение стало мыслью; но, становясь мыслью, оно разбивает единство непосредственного жизнеощущения, оно раскалывает это единство надвое, потому что для работы сознания требуется его двойственность. Вот формулировка мировоззрения Кольцова:

Тучи носят воду,
Вода поит землю,
Земля плод приносит;
Бездна звезд на небе,
Бездна жизни в мире;
То мрачна, то светла
Чудная природа....

Это сознание мира как великого и таинственного целого, кипящего жизнью; но вслед за этим сознанием и идут смущающие вопросы:

Старясь в сомненьях

О великих тайнах,
Идут неозвратно
Веки за веками;
У каждого века
Вечность вопрошает:
«Чем кончилось дело?» –
«Вопроси другога», –
Каждый отвечает.

Смелый ум с мольбою
Мчит к привидению:
«Ты поведай мыслям
Тайну сих созданий!»
Шлют ответ, вновь тайный,
Чудеса природы,
Тишиной и бурей
Мысли изумляя...

Что же совершится
В будущем с природой?..

Ответа нет. Земля и небо молчат. Для сознания человека нет выхода, кроме одного, – религиозной веры. В чувстве жизни Кольцова еще в том виде, как оно сказалось в таких песнях, как «Песня пахаря», заключалось не только ощущение реальное, но и мистическое, – не то, что нераздельно слитые, а еще неразделенные, как в древних мифических чувствах мира. Задав вопрос, поэт не отвечает на него прямо, но за своеобразным стилистическим приемом, – скрывая последнее действие драмы, – говорит в заключительных словах «Думы» только об исходе драмы.

Что же совершится
В будущем с природой?..
О, гори, лампада,
Ярче пред распятым!
Тяжелы мне думы,
Сладостна молитва!

Так религиозно и жизненно, так душевно прозрачно, просто и сильно разрешалась в душе этого воронежского купеческого сына та мука сознания, которая для всей европейской интеллигенции кончилась позитивизмом и атеизмом.

В знаменитом стихотворении «Урожай», написанном через два года после первой Думы, мы и имеем наиболее яркое отражение мифологического чувства природы как-то неожиданно сплетающегося с религиозным чувством даже в оттенке христианского культа. Надо вникнуть в эти слишком примелькавшиеся образы, проникнутые их мифологическим значением, чтобы оценить их смысл. У земли есть лицо, по которому стелется туман в красном пламени зари; разгоревшийся день подбирает этот красный туман с лица земли

выше горного темени и сгущает его в черную тучу. А туча – не просто сгущение тумана, она – живое существо, как земля и заря, и горы. Она, нахмурившись, думает о своей родине-земле, о том, как ветры (тоже живые существа) разнесут ее во все стороны. Она зовет на помощь силы грома и огня, и, ударяя, льется крупными слезами на широкую грудь земли. Солнце и земля сияют огнем и водой и рожают хлеб. От людского труда, солнца, земли и воды родится хлеб. Солнце, сила земли и земного труда уходит. Но огонь остается в душе человека, потрудившегося земле; в зимние темные дни этот огонь загорается жаркою свечой перед иконой Богоматери.¹¹

Ощувив эти ощущения, пережитые и передаваемые Кольцовым, кажется, не сумеет современный человек: такими несовременными – земными и святыми вместе силами – они проникнуты. Теперь понятно станет, что Кольцову нужны были только некоторые философские термины, некоторая привычка к философской формулировке, а вовсе не самая шеллингианская или гегельянская философия. Выраженному так просто и глубоко, в реальных образах идиллий деревенского труда, Кольцов давал в своих Думах лишь идеологическую формулу, если только сомнения не одолевали души

Отец света – вечность;
Сын вечности – сила;
Дух силы есть жизнь...

Да, вечная жизненная сила, сила огня и света внутри мира, – мы знаем уже об этом по песням поэта. В дальнейших строках первая мысль развивается: при помощи новых образов и философских терминов, слитых в одно целое:

Мир жизнью кипит.
Везде Троиный,
Воззавший все к жизни!
Нет века Ему,
Нет места Ему!
С величества трона,
С престола чудес
Божий образ – солнце
К нам с неба глядит...

То самое солнце, о котором говорится и в «Песне Пахаря» и в «Урожае».

И днем поверяет
Всемирную жизнь.
В другом месте неба
Оно отразилось –
И месяцем землю
Всю ночь сторожит.
Тьма на лоне ночи

¹¹ Речь идет о стихотворении Кольцова «Урожай» (1835)..

И живой прохлады,
Все стихии мира
Сном благославляет.

В царстве Божьей воли;
В переливах жизни –
Нет бессильной смерти,
Нет бездушной жизни!

Жизнь не только жизнь, она одушевлена, смерть только процесс одушевленной жизни. В мире горит огненное начало, определяющее все, и надо всем торжествует. Так пламенно и прозрачно ощущение поэта. Он любил жизнь и любил ее любовью чувственной и мистической одновременно. Но пробужденное сознание, трагическое по своей природе, все глубже взрывает душу. Оно выражается в сомнениях, не доверяя непосредственным чувствам. В этом его назначение. Органически стройная душа поэта все ядовитее отравляется мыслью. Вера подвергается все настойчивее и неотступнее ее страшным соблазнам. И поэт в тоске обращается опять к Тому, кто есть живое и личное воплощение его веры.

Спаситель, Спаситель!
Чиста моя вера,
<Как пламя молитвы!>
Но, Боже, и вере
Могила темна!

Сознание соблазняет самым решительным из своих соблазнов. «Ты любишь жизнь, – говорит оно человеческому сердцу, – ты ощущаешь ее реально и мистически. Но ты умрешь и реально ощущать ее уже больше не будешь».

Что слух мой заменит?
Потухшие очи?
Глубокое чувство
Остывшего сердца?
Что будет жизнь духа
Без этого сердца?

И опять ответа нет. На мир природы накинута завеса тайны. Выход из сомнений только в вере. Поэт уже это знает. Для мысли нет ответа, но верующая жизнь получит ответ самой жизни. И поэт, сосредотачиваясь в напряжении религиозной интуиции, успокаивает себя тем, что самое сомнение есть акт веры.

Прости же мне Спаситель!
Слезу моей грешной
Вечерней молитвы:
Во всем она светит

Любовью к Тебе...

И чувство жизни не ослаблялось, а росло, ширилось, углублялось у Кольцова с каждым годом. Гимном жизни и ее неодолимым чаром надо назвать «Пору любви», написанную позднее этих дум-сомнений. Словно сама весенняя природа всем своим воздухом, звуками и цветами поет в этих словах поэта.

Весною степь зеленая
Цветами вся разубрана.
Вся пташками летучими –
Певучими полным-полна;
Поют они и день и ночь.
То песенки чудесные!
Их слушает красавица
И смысла в них не ведает,
В душе своей не чувствует,
Что песни те – волшебные...
.....
Стоит она задумалась,
Дыханьем чар овеейна...

«Овеянная дыханьем чар» все напряженнее, все жарче разгоралась с каждым годом солнечная дума Кольцова. И если 9-го декабря 1840 года, за полтора года до смерти от заживо разрушившей его болезни, среди людей, которые дождаться не могли, когда он умрет, написан им «Расчет с жизнью»,¹² которую он готов был разбить с отчаяния, что она не исполняет во всей полноте всех своих обещаний, то буквально накануне этого дня, 8 декабря, он писал песню, где в ярких и как-то особенно упрощенных образах, словно бы под стиль былины о Дюке, Чюриле и Садке, с увлечением рассказывает именно об этих обещаниях жизни, как будто они все-таки исполнились, как будто жизнь не обманула его:

Много есть у меня
Теремов и садов,
И раздольных полей,
И дремучих лесов.

Много есть у меня
Деревень и людей,
И знакомых бояр,
И надежных друзей.

Много есть у меня
Жемчугов и мехов,
Драгоценных одежд,
Разноцветных ковров.

¹² Речь идет о стихотворении Кольцова «Расчет с жизнью» (1840)..

Много есть у меня
Для пиров – серебра,
Для бесед – красных слов,
Для веселья – вина!

И в следующем году, за несколько месяцев до смерти, в таких порывистых и горячих словах вспоминал он о прошедшей жизни, обольстившей и обманувшей его:

Не весна тогда
Жизнью веяла,
Не трава в полях
Зеленелась;

Не заря с небес
Красовалась,
Не луна на нас
Любовалась!

Нет! под холодом,
Под туманами,
Ты в объятьях жгла –
Поцелуями!

Ночи темная,
Ночи бурная
Шли, как облачки,
Мимо солнушка.

Вьюги зимняя,
Вьюги шумная
Напевали нам
Песни чудные.

Наводили сны,
Сны волшебные, –
Уносили в край
Заколдованный!

Сам приговоренный к смерти он, откликаясь на другую, уже совершившуюся безобразную смерть того, кто его создал, – Станкевича, говорил об его знаменитом философском кружке, как о разгульном празднике молодости, счастье и силы, на котором самая печаль была счастьем, потому что и она открывала для души беспредельные просторы:

Под тенью роскошной
Кудрявых берез
Гуляют, пируют
Младые друзья!

Могучая сила
В душе их кипит;
На бледных ланитах
Румянец горит.

Их очи, как звезды
По небу, блещут;
Их думы – как тучи;
Их речи – горят.

Давайте веселья!
Давайте печаль!
Давно их не манит
Волшебница даль.

И с мира, и с время
Покровы сняты:
Загадочной жизни
Прожиты мечты.

Шумна их беседа,
Разумно идет;
Роскошная младость
Здоровьем цветет.

В этом изображении нет и намека на те муки мысли, которые Кольцов переживал от соприкосновения с молодыми и шумными друзьями. В душе остался только восторг, и чем глубже завязывались связи Кольцова с интеллигентным сознанием его времени, тем больше опасностей было для его младенчески прозрачной и стремительной души. Кольцов преодолевал все их своим стихийным чувством жизни. В самых последних своих стихотворениях, вероятно, под влиянием позитивного направления мысли его друзей, можно заметить потерю мистического чувства природы, но стихийное чувство радости жизни торжествует и в эти последние дни над всем. Осуждая романтическое пренебрежение к жизни, Кольцов не говорит больше о жизни мистически, но, становясь в зависимость от новых умственных впечатлений на реалистическую почву, – он и в новом жизнеощущении усваивает то, что соответствует его собственному:

...От души ль порою
В нас чувство говорит,
Что с жизнью земною
Нет нужды дорожить?..

Всему конец – могила;
За далью – мрак густой;
Ни вести, ни отзыва
На вопль наш роковой!

А тут дары земныя,
Дыхание цветов,
Дни, ночи золотыя,
Разгульный шум лесов;

И сердца жизнь живая,
И чувства огонь святой,
И дева молодая
Блится красотой!

Таким образом он мог изменить в своем жизнеотношении мистическому началу, но не мог изменить жизненному, которое до конца оставалось для него «святым огнем». Это была основа его души, его природа. Мы не будем теряться в догадках, чем стал бы Кольцов, если бы она осталась жить, изменил ли он своему мистическому чувству безвозвратно. Несколько стихотворений 40-х годов, написанных, по-видимому, под влиянием новых веяний, шедших от статей Герцена и Белинского, во всяком случае, слабее прежних, тех, которые связываются с представлением о Кольцове, и неоригинальны, сохраняя только его основной лирический мотив, – признание жизни. Кольцовское в русской литературе и есть это чувство жизни, чувственное и мистическое одновременно и нераздельно. Это то, что он принес из недр некультурной среды, необессиленной интеллигентской культурностью, умствованиями. – Он сам стал читать книги и умствовать. Но ни то, ни другое не обессиляли его силы земли и солнца. Не заключая в своем непосредственном чувстве жизни чувства мистического, но одно лишь реалистическое, он, конечно, не был бы тем своеобразным и пророческим явлением, каким он мелькнул среди русского общества, не задев его глубоко. Но звуки кольцовских песен и дум раздались и прозвучали в полной мере в тот момент, когда они были звуками именно такого слитого и нерасколотого чувства, без которого человек холодеет и обессиливает. Отсутствием его, а потому – холодом и бессилием характеризуется европейская, а вслед за нею и послушная ее указаниям русская интеллигенция. Ей не достает потерянного ею на пути ее интеллигентного развития силы непосредственного и живого чувства, которое любит жизнь и слышит в ней Бога жизни. Кольцов любил ее и слышал его, а наше чувство жизни или ослаблено, или болезненно раздражено, и мы разучились слышать в ней Бога,¹³ поэтому мы не расслышали или не дослушали Кольцова.

Я верю, что пробуждение русского общества наступит тогда, когда в нем проснется это кольцовское чувство жизни.

¹³ Далее следовало: жизни (зачеркнуто).